

МИХАИЛ БЛЕХМАН

# СУБЪЕКТИВНЫЙ реализм



Михаил Блехман

**Субъективный реализм**

«Мультимедийное издательство Стрельбицкого»

**Блехман М.**

Субъективный реализм / М. Блехман — «Мультимедийное  
издательство Стрельбицкого»,

Сборник рассказов в стиле, который автор назвал "Субъективным реализмом". Эти рассказы - о любви, творчестве, времени. Они полны метафор и иносказаний, игры слов и полутонов. Автор продолжает традиции Хулио Кортасара, делая при этом свой собственный вклад в современную прозу.

© Блехман М.  
© Мультимедийное издательство  
Стрельбицкого

## Содержание

Потом	5
Все	8
Апокриф	27
Мольберт	31
Конец ознакомительного фрагмента.	33

# Михаил Блехман

## Субъективный реализм

### Рассказы и повести

#### Потом

Останусь?

Да нет, уже нужно идти...

Идти и думать: кто же этот глупец, бессмертный, как сама глупость?...

Ноет простуженная поясница. Ноги почти не несут – гудят в проклятых туфлях...

Всё-таки останусь, посижу на нашей с ним скамейке. С некоторых пор нас здесь осталось вдвое меньше, чем в те давние времена. Как не улыбнуться собственным арифметическим способностям, ну не молодчина ли я? Разделились два надвое, в остатке получается один и одна... Есть он, есть я, – но всё равно это – ровно вдвое меньше, чем было тогда, вначале.

Почерневшие, отвислые щёки полуночного неба усеяны блёклыми, кое-где розово-пыщеватыми крапинками. И в этом небе отражается наше высыхающее озеро – бездонный водоём раздражённо швыряемых друг в друга пресных слов.

Останусь. Бесполезно и бессмысленно уходить отсюда, с этой скамьи, пусть и давно задревеневшей, от этого озера, пусть и давно охладевшего, – от этого озера, в котором нет числа остывшим кусочкам золы, невесть когда бывшим угольками...

Сама знаю – не останусь, всё равно ведь встану и пойду – к нашим четырём стенам, побитым горохом упрёков, обид и обвинений. К разбитым горшкам незаживающих обвинений, к ядовитым черепкам колющей иронии. Добра наживать оказалось даже проще, чем предполагалось, – вот только хорошо, что у нас нет кур: было бы грустно видеть, как они отказываются клевать эти легко нажитые золотые полушки, разбросанные повсюду – по двору, у озера, в замке.

Пойду, чтобы снова перебирать больными ногами в холодных туфлях всё по той же шершавой лестнице, словно белая детская халва зачерствевшей с тех пор, как исчерпалось подобие моего детства. Чёрствая халва – неужели по ней удавалось бегать?

Когда-то он, ожидая моей восхищённой благодарности, взлетел выше птичьего полёта, но оттуда меня невозможно не то что разглядеть, а хотя бы заметить, – так чему же восхищаться и за что благодарить?

Полетать, что ли, и мне – мне ведь по чину, – чтобы с высоты полёта тех же птиц не замечать опостылевших мелочей? Увы, небо занято, двоим в нём можно лишь разминуться. Да и мелочей – всего нашего добра – нажито столько, что ничего другого, кажется, уже и не осталось. А добро всё наживается и наживается, не переставая...

– ...где же ты, наконец?

Кто из нас это спросил? Нет, не спросил, а сперва, давным-давно, раздражённо бросил, потом равнодушно заметил, потом устало зевнул...

Если неясно, кто, значит – оба?

– ...сколько можно собираться?

Кто это говорит – он или я? Даже разминуться уже не удаётся.

– ...ну, где же ты?

Ключевой вопрос. Точно ключ, не подошедший к замку между нами, между ним и мной. Будто замок, не подошедший разделённым надвое двоим.



Я задаю себе этот вопрос по тысяче раз на день. Я кручу и верчу его, но он послушно и безвольно прокручивается в запершем каждого из нас заржавевшем замке, бессильный отпереть огромный тесный замок.

Я смотрю в зеркало – не столько чтобы посмотреться, сколько чтобы увидеть себя, ведь где же ещё я могу себя увидеть? Если я где-то и осталась, то лишь в зеркале, а везде, кроме зеркала, разве это – я?

– ...ты идёшь? Все собрались и ждут.

Уверены ли они, что ждут – меня? Знают ли они моё имя? Помнят ли, как меня звали?

– Ваше величество, позвольте объявить о вашем выходе?...

Позволю, конечно, как не позволить. А вы, взамен, позволили бы мне понять – куда и зачем я исчезла? А когда – я и сама помню...

Ведь и в зеркале – не я. Смотрю, ищу – не нахожу.

Вглядываюсь, выглядываю – но не вижу. Даже в зеркале.

Под окном – развалившаяся телега, кажется, бывшая когда-то парадным экипажем. Уса-тый кучер спит рядом с вечной миской недоеденной тыквенной каши. Шестеро остромордых, узкохвостых лошадей разбрелись кто куда. Слуги в ливреях цвета отхлеставшего кусты дождя, затёртых, как мои непонятно к кому обращённые просьбы, храпят в лакейской. Спят все, кто решил не приходить ко мне из моего детства. Спят, как будто и не бодрствовали никогда. Как будто их всего-навсего придумал тот самый глупец – вечный, как самоё глупость.

Всё и все – на своём месте, это могло бы успокоить.

Только и нужно для счастья – понять, где же в моей жизни – я? И осталась ли я – после того, как моё детство прекратилось и все, кто в нём у меня был, разбрелись кто куда и уснули.

Поясница жалобно ноет после задубевшей скамейки, от бесконечных дворцовых сквозняков...

Хорошо, войду, ведь все собрались, – все, кроме разбредшихся и уснувших.

Я открываю навечно запертую дверь и вхожу в зал. На троне – его бывшее величество, а к нему подходит – чтобы занять место рядом – бывшее моё. Он смотрит на меня и, наверно, да нет, наверняка, думает то же самое: откуда взяться величеству, если величие ушло? Незаметно для других, оно исчезло для нас, друг для друга, а не это ли главное?

Нет, не это. Главное – туфли, самая невыносимая из всех мелочей. Из-за туфель я ненавижу свои ноги даже сильнее, чем постоянно ноющую поясницу. Эти туфли следует обувать сразу после сна и не снимать до следующего, чтобы исходящему от меня очарованию и всеобщему умилённому восхищению не было предела. Мне положено порхать и излучать наивность, серебристо звенеть в ответ на приветствия и заливаться пунцовой краской воплощённой наивности. Собравшиеся призваны прислуживать мне, а я – служить всем им. Её величество служит своим подданным. Служит недостижимым и потому влекущим примером, воплощением недостижимой, но всё же однажды достигнутой, а потому соблазнительной мечты.

Для этого я обязана представлять перед подданными в уже давно тесном, хотя ещё не совсем вылинявшем платье и в мерзких, неуправляемых туфлях. Во время каждого триумфального – они у меня все триумфальные, так положено, – выхода мне полагается по-детски шаловливо щёлкнуть пальчиками, словно очередной каминный уголёк едва слышно треснул, незаметно для подданных превращаясь в золу, после чего устыдиться собственной шаловливости, залиться румянцем и потупить взор.

Щёлкну, зальюсь, потуплю. Я смирилась со всем и со всеми. Приподниму платье до щиколотки, чтобы взойти на трон и чтобы подданные умилились и умиротворённо переглянулись: «Да, это она – та же, необходимая и вечная. Это её ножки – в тех же, неизменных, незаменимых туфельках».

Ритуал заведен, подобно дворцовым часам, бьющим вечно, и вечно – невпопад. А с некоторых пор – наотмашь.

Значит, пусть мои ноги остаются для подданных ножками, и пусть подданные не слышат, как невыносимо эти ноги гудят.

Подданные уверены, что это – я.

Что это я – восхожу на трон, подставляю руку для королевского поцелуя, заливаюсь серебристым колокольчиком и румянцем.

Они не заметили тыквы, валяющейся под окнами дворца? Ну, что ж, пусть будет так, пусть они, на своё счастье, не замечают того, что потеряло важность, – так как же, я не замечая себя в зеркале.

Пусть ноги остаются ножками, а ненавистные туфли – туфельками.

И пусть мне никогда не узнать, какой глупец, бессмертный, как самое глупость, выдумал эти туфли и подговорил старую недобрую фею надеть их на мои гудящие ноги.

Эти по-жабы холодные и скользкие туфли.

Эти сказочные туфельки из хрусталя.

## Все

### Повесть без эпиграфа

– Между «ё» и «е» так же мало общего, как, скажем, между «р» и «г» или между твёрдым и мягким знаками.

– Разве это эпиграф? Это – констатация факта, хотя и важного. Я же сказал: повесть без эпиграфа.

#### 1

Говорят, первая фраза – самая трудная.

Спрошу у того, кто вроде бы знает.

Заодно попрошу его не выдумывать для меня имя, а то, кажется, он начал изменять своей привычке. В предыдущей повести, во всяком случае, изменил.

«Ты просишь об этом, как о милостыни. А что касается якобы «предыдущей» повести, то повесть предыдущей быть не может. Последней – да, но не предыдущей». Они все – настоящие, кроме, разумеется, ненастоящих.

Я пожал плечами:

Если есть выбор – какая же тут милостыня? Это просто подарок или, в крайнем случае, одолжение. Вот если выбора нет, тогда, увы, – милостыня.

Сарай тускло сиял огнями. Сиять у него всё ещё получалось, хотя уже с трудом. Последнее время сиялось не так, как поначалу. Говорят, поначалу всё вообще было намного ярче, отсюда и сияние. Все всегда говорят, что раньше всё было ярче. Да и вообще – было. Сейчас уже не проверить, было-то – давным-давно...

А как насчёт первой фразы – она действительно самая трудная?

Теперь пожал плечами он:

«Зачем разделять рассказ на фразы? Тебе ли не знать, что рассказ – это одна сплошная фраза».

Тем более повесть, – не возражал я.

Он согласился и возразил одновременно, за нас обоих:

«Это зависит от повести. Впрочем, от рассказа – в неменьшей степени. Иногда рассказ сам собой рассыпается на фразы, и тогда первую не отличить от последней. Да и как отличишь друг от друга части, не составляющие целого?»

Мы помолчали.

Итак, – прервал я молчание, – я пойду? Ты ведь настаиваешь, не так ли?

Он всплеснул руками:

«Настаиваю на твоём собственном решении?»

Я вздохнул и пошёл – выбор ведь действительно был моим собственным. Мы всегда так думаем, если нам кажется, что выбор удачен.

А первую фразу он оставил за собой, вместе с моим именем, которого мне давать не стал. Вместо имени в путь отправился – я.



## 2

Ну что ж, начну отсюда. Сарай, оставаясь позади, по-прежнему тускло сиял огнями, и они, эти огни, уходили туда, откуда огней почти не видно.

Совсем не видно, и только ли огней...

Ну да, сарай был без удобств, не отрицаю, и в местах всеобщего пользования отсутствие удобств ощущалось особенно сильно. Зато наш сарай был с видом. И за этот вид все его любили, и в местах всеобщего пользования было много всех. Подчёркиваю: все любили, и всех было много.

За отсутствие же удобств его, наш сарай, недолюбливали, и тоже – все. Да чего уж греха таить – за отсутствие удобств, никак не компенсируемое видом, все сарай не любили. Где есть любовь – там нелюбви самое место.

Идти было нелегко, и чем дальше, тем труднее.

«Впрочем, не следует забегать вперёд».

И всё же что-то мешало идти, с неслышным шумом пролетая мимо меня, туда, где осталась первая фраза, казавшаяся теперь самой лёгкой. И где остались хоть и тусклые, но всё же – огни.

Нелюбимые всеми.

## 3

Мечты, как выяснилось, бывают совершенно разными, насколько банально ни звучала бы эта фраза и какой бы непервой она ни была.

Хотя, если вдуматься, банальна не сама фраза, а её восприятие. Я оглянулся – и он кивнул, даже, можно сказать, поддакнул. А не ему ли виднее, особенно когда я прав?

Так вот, совершенно разными. Иногда – не столько мечтаешь, сколько идёшь, а иногда не столько идёшь, сколько мечтаешь.

В целом мой сарай мне нравился, он был вполне обихожен. Но – или всё же и – я мечтал отправиться в путь. Возможно, потому, что нравился он мне не более чем в целом, а возможно и потому, что соседний сарай – рукой подать, как милостыню, и этот соседний сарай казался, да и был, таким недостижимо далёким, что не достичь его было выше моих сил.

Хотя поначалу, когда я лишь мечтал о нём, выше моих сил казалось – именно достичь.

Я шёл, не переставая мечтать, и в моих мечтах перемешались два взгляда: один – в тот всё тусклее сверкающий сарай, который остался позади, второй – в маячивший, ярко брезживший впереди. Он, пусть и другой, тоже был сараем, и это было правильно, как правильно всё, чему нет альтернативы.

Я обернулся – но он не кивнул. Очевидно, не был согласен.

Непогодило. Неизбежная туча то появлялась увесистым фингалом под ярким лимонным глазом, то ненадолго оставляла глаз и меня в покое. А шум не прекращался, разве что время от времени становился неслышным, особенно когда бежевый закат делал его совсем уж нелепым и неуместным.

Оба сарая стояли (прошедшее время здесь – не более чем литературный приём) в не совсем уже чистом поле, разделённые чем-то с виду непреодолимым. Они казались непостижимо далёкими один от другого, – пусть в глубине души я, возможно, и допускал, что место для приставки выбрано неправильно. Но разве задумываешься о приставке, отправляясь в путь? Разве думаешь о том, что если не обращать внимания на приставку, то зреть в корень окажется невозможным?

Кто ж знал, что корень так зависит от приставки.

Кто вообще знал...

#### 4

Грамматическое время имеет лишь косвенное отношение к реальному. А реальное... Так ли уж оно реально, как кажется?

Что касается прошедшего времени, то оно и вовсе лишено смысла: разве что-нибудь важное – проходит? Время – это не головная боль. В состоянии ли время пройти?

А если нет, то как же оно может быть прошедшим?

То, что не проходит, прошедшим не становится. Я понял это ещё тогда, в нашем уютном, привычном, никогда не проходящем, не преходящем сарае, и тускнеющий свет не помешал мне понять.

Значительно позже я понял также, что то, что не имело особого смысла в прошлом, приобретает значение в настоящем. При условии, что это прошлое – давным-давно ушедшее.

Бесповоротное прошедшее время. Странно, что в грамматике нет такого времени – Бесповоротное Прошедшее.

Значит, прошедшее время всё же реально... Что-то я запутался в грамматических тонкостях, – а ведь считал грамматику своим коньком.

Вот бы дождаться такого времени, когда времени не будет, ни реального, ни грамматического... Есть ли оно, такое время? Реально ли?

#### 5

В том якобы прошедшем времени не было ничего прошедшего, иначе можно было бы сказать, что в настоящем нет ничего настоящего.

Перья скрипнули во всех распахнутых тетрадах, или это скрипнула, распахнувшись, дверь, похожая на избела голубой экран. К нам всем вошла первая женщина...

Он перебил меня: попробовал сострить, наверняка ведь зная, что нет ничего тупее надуманной остроты.

У него не сострилось.

– Сарай нерушимый, – сказала наша первая женщина, и все ответили ей утвердительно, общим хором. – Удобства есть, сколько бы иногда ни говорили, что их нет. И вид есть – вот он.

«Ты уверен, что первой была женщина, а не мужчина?»

Я пожал плечами. Разумеется, уверен я не был, но если бы я сказал, что первым был мужчина, вопрос остался бы по сути тем же. Уйти от ответа – самый лёгкий способ уйти от вопроса, да?

В этом непрошедшем времени все пели, держа руки по швам, даже те, у кого швов, кажется, не было, и слушали первую женщину, или первого мужчину, говоривших о том, что сарай нужно любить за бескрайность и необъятность. Я подумал – а может, мне только показалось и я так вовсе и не думал, – что, выходит, маленький сарай любить нельзя. Впрочем наш-то – всё равно большой, а значит, сомнение моё чересчур абстрактно и не заслуживает внимания.

– Будущее – за нами, – сказала первая женщина.

Первый мужчина кивнул и подтвердил:

– За нами – будущее.

– А за сараем? – спросилось само собой, и тоже у всех.

– Там, – указала вдаль первая женщина, – там, за сараем, находится безнадежный, бесперспективный, ошибочный по сути и неправильный по форме сарай. Да, с сияющими удобствами, и именно поэтому – без вида. Он тоже большой, но любить его нельзя, несмотря на то, что он тоже большой. А знаете, почему?

Все, как всегда, не спрашивали.

– Потому, – объяснил первый мужчина, – что нельзя любить чуждое, как бы физически велико оно ни было и как бы ярко ни сияло, – а оно сияет. Но чуждое сияние – это не что иное, как худшая разновидность отсутствия сияния.

– Если тот сарай не угомонится в своём кажущемся сиянии, то не исключено, что противостояние сараев закончится плохо для всех, в первую очередь – для сарая, кичащегося своим сиянием.

И все поняли, что своя темнота – это и есть истинное сияние, пусть и тусклое. Все поняли также, что лучше, когда тускло сияет своё, чем ярко сияет чуждое.

Не чужое – чужое иногда тоже сияет, – а именно чуждое. Чужое ведь при желании бывает и своим, а чуждое своим быть не может.

– Давайте и впредь сараизировать наш сарай, – сказали женщина с мужчиной. – Если же кто-либо из всех не настроен на сараизацию, мы скажем такому с позволения сказать сарайцу:

– Чемодан, вокзал, чуждый нам сарай.

Сараизация продолжалась, несмотря ни на что.

И несмотря ни на что же, наши сараи разделяли непреодолимые, невидимые барьеры.

## 6

Я шёл незапланированно долго.

И – незапланированно же – что-то мешало идти, с неслышным, мучительным рёвом пролетая мимо меня.

Хотелось, думать, что – мимо...

Я шёл поверх всевозможных невидимых разделов и барьеров, и не переставал мечтать. Вроде бы и в путь уже отправился, а всё равно – мечтал, сам не знаю, зачем.

Мечтал о том, чтобы поле не переставало быть чистым, чтобы наш сарай засиял не тускло, а по-настоящему, чтобы то невидимое, что разделяло сараи, стало бы видимым, и тогда можно было бы решить, что же с ним, этим некогда невидимым, делать: по-прежнему стараться преодолеть или теперь уже не обращать внимания. И чтобы сарай не пошёл на сарай доказать, кто сияет правильно или, по крайней мере, правильнее. И чтобы новый сарай оказался совсем поблизости, как бы далеко он ни находился.

Преодолевать было хлопотно, не обращать внимания оказывается по-своему сложно, и в не меньшей степени. Всё это – то ли думалось в прошедшем, то ли оказалось в настоящем...

Трудно идти поверх барьеров, в особенности – невидимых.

Но ведь не идти – не намного легче.

Он слегка заметно кивнул.

## 7

Поэтому в прошедшем, не ставшим прошлым, хотя и преставшим быть настоящим, все мы, сарайцы, до боли, до скрежета и хруста, не любили сияющий неведомо где сарай, о котором никто из всех не знал бы, если бы не первые женщина и мужчина, и если бы не пуговицы.

Пуговицы были в дефиците. Не все разумеется – эка невидаль, – а именно и только эти. Как они постоянно достигали нашего сарая, всем не было известно, и главным сарайцам, в первую очередь начсаром и его немногочисленным (много их быть не могло) сосарайцам, думаю, тоже, иначе не видать нам сияющих, как тот, неведомый сарай, пуговиц. Не тускло сияющих, а по-настоящему.

Все любили сияющие пуговицы так же сильно, как ненавидели их источник – сияющий издали, неведомый, иной сарай. Обожали их за сияние и никогда даже в мыслях не отпары-

вали от остальной, такой близкой к телу одежды. Бравирование пуговицами не поощрялось, но все бравировали ими, особенно теми из них, которые не теряли иносарайного сияния даже от длительной носки и в любую погоду. А таких среди иносарайных пуговиц было большинство.

Первая женщина и первый мужчина о пуговицах не упоминали, хотя наверняка в кругу своих семей ими любовались и мысленно – разумеется, мысленно, – ими бравировали.

Невходная – ясно, что она не могла быть входной, – избела голубая дверь в нашем тускло сияющем сарае регулярно открывалась. Входили первый мужчина и первая женщина, застёгнутые на все близкие, понятные нам тускло сияющие пуговицы, и неопровержимо говорили, обращаясь ко всем и указывая, скажем, на мастера допустимого свиста:

– Убедительно просим любить и жаловать: это – мастер допустимо посвистеть.

Сказав, они пристально смотрели на всех, и все в ответ понимали сказанное и принимали как руководство к действию, а главное – к мыслям и чувствам.

Перья переставали скрипеть, тетрадные листы прекращали шелестеть. Мастер допустимого свиста становился перед всеми, устремлял строгий взгляд поверх не столько барьеров, сколько голов, и, сияя всеми своими пуговицами, возвышенно свистел о насущном, стройный и по-сарайски величественный.

Первая женщина и первый мужчина указывали, скажем, на мастерицу так и быть допустимого свиста и настойчиво сообщали:

– Неопровержимо просим обожать мастерицу почти допустимого свиста.

Все слушались и слушали, и перья снова умолкали, а исписанные конспекты бережно закрывались, но не забывались. Мастерица почти допустимого свиста взвивалась перед всеми, пронзала всех возвышенно раскованными и возвышенно же рискованными взглядами и до восхищённого всеобщего изнеможения свистела о потаённом.

Первые мужчина и женщина знали, когда входить в эту дверь, и поэтому входили строго вовремя, то есть постоянно, и проникновенно глядели на всех.

– Настойчиво просим тайно обожать, – скажем, обращались они ко всем, – мастера недопустимого, скрытого от непосвящённых свиста.

Все непреодолимо хотели быть посвящёнными. Мастер открытого всем посвящённым свиста сильно и душевно, с лёгкой, жестковатой небрежинкой насвистывал о скрытом, так что всем, даже, говорят, завсару, становилось всё понятно, тогда как если бы мастер тайного свиста не свистел, понятно не было бы ничего – снова-таки, всем, кроме завсара.

Не успевал он досвистеть, как в распахнутую дверь входил мастер допустимого свиста, за ним, дополняя его, вторгалась мастерица свиста почти допустимого, а мастер недопустимого свиста был допущен свистеть на их фоне, или же свистели на его фоне они. Тем самым свист не прекращался. Сияние тускнело, но свист не прекращался, невзирая ни на тусклость, ни на приближающееся к засилию обилие пуговиц, преодолевших невидимые барьеры.

Бывало, кто-то не объявленный первыми мужчиной и женщиной хотел свистнуть, но первые мужчина с женщиной давали хотящему строгую отповедь:

– Не свисти!

Могли ли все взять и вдруг начать обожать несвистящих? Кто не свистит, тот не может быть обожаем.

Прошедшее время не имело в этом контексте даже грамматического смысла.

«Ты прав, не имеет. И прекрати оправдываться, тем более – за всех».

## 8

Когда идёшь неизвестно куда, устаёшь всё-таки больше, чем когда известно, – хотя когда известно – ещё как устаёшь.

Я шёл и думал, почему же я так устал.

Откуда мне было знать, что мне – вовсе даже и не известно?

«Самооправдание ненамного лучше самобичевания, – заметил он. – По сути дела, это одно и то же, ведь полностью самооправдаться тоже никогда не удаётся».

Я кивнул: теперь виднее было не только ему, но и нам обоим.

Шёл долго, времени на раздумья было много, и я не устал спрашивать себя: зачем решил сменить сарай? Убедить себя на редкость сложно, причём не проще, чем переубедить...

Да, наш сарай сиял тускло, причём тусклость усиливалась и усиливалась, постепенно сходя на нет. Да, удобств, а в особенности главного, не доставало, и чем сильнее была тусклость уходящего сияния, тем острее ощущалась нехватка удобств. Отсутствие удобств, собственно говоря, было наибольшим неудобством. По сути, единственным, хотя и комплексным.

И всё же, приставал я к себе всё с тем же с вопросом: достаточно ли этих недостатков для того, чтобы решиться изменить своему сараю в пользу другого? Ну хорошо, хорошо, не изменить, а просто – сменить один сарай на другой, – достаточно ли?

## 9

Звание завсара в нашем сарае из звания превратилось в титул, да и званием-то, если вдуматься, никогда фактически не было. И до звания – нет, всё же титула, – соратникам завсара было не дослужиться. Попробуй – дослужись до титула... Кто-то, в качестве исключения, дослуживался, но далеко не все.

Впрочем, мечтали все совершенно о другом. Не до завсарайства было, говоря по правде. Ну, а когда всем не до завсарайства, оно, завсарайство, неизбежно становится титулом.

Мы с ним кивнули почти дружно.

## 10

Помню, как я засорбился в путь.

– Снимки можешь с собой не брать, – сказали мне все. – В новом сарае они тебе не понадобятся, тем более что там, в этом новом сарае, снимки – цветные. Зачем тебе твои?

– Чёрно-белые намного цветнее цветных, – огрызнулся я и взял свои чёрно-белые снимки с собой.

Путь от одного сарая к другому оказался длиннее, чем могло показаться, если мечтать, не выходя за пределы сарая. Всем не мешали мечтать мастера свистов, поэтому за пределы сарая все не выходили. Вот и я мечтал под свист. А когда решился и вышел, путь оказался длиннее и неудобнее всех неудобств, оставленных в том якобы прошедшем времени.

## 11

Но сильнее всего устаёшь не оттого, что идёшь, а оттого, что мечтаешь. В особенности – если то, о чём мечтал, сбудется. Если сбудется, думаешь: неужели мечтал – об этом? И неужели так устал – из-за, ради этого?

А если мечтать не будешь, всё равно ведь устанешь. Да и не удастся – не мечтать.

В прошедшем времени почти ничего не сбылось, то же, что сбылось, не считается. В настоящем, внезапно переставшем быть будущим временем и спешащем снова стать прошедшим, мечтаешь обо всём том, что не сбылось, заставляя – да нет, упрашивая всё несбывшееся всё же как-нибудь сбыться.

Я шёл и мечтал, вот только никак не удавалось понять, о чём же мне мечтается.

Ведь мечталось же, так о чём же?

О том, наверно, что там, в том удаляющемся по мере приближения сарае, – ко мне подкрадывается неизвестность, словно шаги украдкой за спиной. Вот приду в него, в совершенно другой, бывший чуждым сарай, и у меня спросят... Что-то же спросят, да?

Или наоборот, сразу же возьмут и скажут что-нибудь своё необычное. Например, скажут: – Нет сарая, кроме сарая.

И спросят:

– Согласен?

Нет, – мечтал я, – не спросят. А если и там спрашивают, зачем я туда иду?

Вот об этом, наверно, и мечтал.

И ещё мечтал – поначалу – вернуться в сарай, тускнеющие огни которого хорошо виднелись за спиной. Тогда ещё можно было обернуться.

Он усмехнулся:

«Если долго не вступать в реку, она превратится в болото, и второй раз вступить в неё не удастся».

А я всё равно мечтал. Но об этом ли – не помню...

Не помню, о чём мечталось.

## 12

Новый сарай – это, в первую очередь – другой запах. Вообще – запах, потому что старый сарай не пахнет, наверно. Да, конечно, новый сарай пахуче сияет огнями, а не тускнеет, если можно так выразиться...

«Нельзя, и ты, надеюсь, это понимаешь».

Ладно, не буду. Так вот, новый сарай сияет огнями, и у него есть удобства, хотя и без вида.

Но главное всё-таки – запах. Я и не подозревал, что будет такой запах, не надеялся даже.

А он – был.

Запах – вещь невероятная, – да и не вещь даже, а скорее – событие. Он важнее всего остального.

Вот именно: остального.

Там, в прошедшем времени, самым запомнившимся мне был запах дыхания девушки, в которую я был влюблён...

«Нельзя ли без банальных метафор?»

Банальным становится внезапное исчезновение запаха. Да, не возражаю, после него остаётся воспоминание, но у воспоминаний – запаха нет...

«Всё зависит от конкретного воспоминания. Стоящее воспоминание запах вполне даже имеет. Ну, и если бы – предположу невозможное – любовь была взаимной, запаха не было бы. Взаимность развеивает не только иллюзии, но и запахи. Впрочем, запах – это, собственно говоря, одна из иллюзий».

Но от этого воспоминание не перестаёт быть воспоминанием.

А запах – исчезает, и уже больше никогда не появится, сколько ни пытайся воскресить его воспоминанием.

Помнишь, что – был.

«В чём же разница между взаимной любовью и отсутствием любви? В обоих случаях запаха нет».

Вроде бы действительно был.

Не помню, кажется, что-то такое было... А запах ли это – сейчас уже не припомню.

Нет, просто показалось. Откуда ему взяться, особенному запаху?

Да и всё остальное – было ли?

«Не забегай вперёд, давай по порядку. Попробую не перебивать без надобности. И так?»

## 13

Итак, для меня начинался новый год. Это был год смены сараев, а смена сараев – не просто смена, как, например, первая, вторая или даже третья, не говоря уже о смене белья или старинном журнале с тем же вводящим в заблуждение названием. Смена сараев – одна из наиболее загадочных смен, если не самая загадочная. Вроде бы меняешь сарай на сарай, а получается, что сменил старый год на новый.

Новый год – самый невесёлый праздник. Не потому, конечно, что, мол, ещё один год... и тому подобное.

«Я уж думал, что ты снова опустишься до банальности. Прости, что в очередной раз перебил».

До некоторых банальностей приходится не опускаться, а наоборот...

Нет – потому, что принято веселиться. Что может быть грустнее?

Чем ближе был новый сарай, тем ближе – новый год, и тем явственнее, хотя и ничуть не ярче, становились огни. Сначала я думал, что ярче они не становятся потому, что и без того уж ярче невозможно. Вгляделся и понял, что причина – в другом.

В том, что сияют, оказывается, не огни, а пуговицы и кусочки. Кусочки то ли материи, то ли одной большой пуговицы, разделённой непоровну между всеми. У всех же, как я впоследствии понял, было принято в обязательном порядке стоять под этими кусочками и...

«Не забегай вперёд, обо всём – по порядку».

Как скажешь. Вернее, как прикажешь. Продолжу, с твоего позволения.

«Да продолжай уже, не ёрничай!»

## 14

Настал новый год: сарай был сменён.

В новом для меня сарае бросалось в глаза изобилие пуговиц, почти сразу увы, потерявших для меня притягательность вместе с потерей ощущения иносарайности. Своя пуговица ближе к телу, однако она же и лишена очарования чужеродности. Своё не отталкивает, но и не притягивает, а если притягивает, то всего лишь по инерции, свойственной всему, к чему привык.

Налицо в новом сарае были удобства, особенно – основное. Доступность, да и самое наличие основного удобства поражали и, как оказалось, не начинали казаться полностью банальными даже с течением времени. В этом, очевидно, отличие удобств от пуговиц: без последних представить себя всё-таки можно, тогда как без первых – нет. К сожалению, нет.

В ознаменование доступности удобств или по другой причине, вокруг развевались не только на ветру, но и в безветренную погоду многочисленные кусочки-лоскуты, те самые, которые я несвоевременно упомянул выше. Теперь до них дошла очередь, и в них можно и нужно было вглядеться.

Вглядевшись, я понял, что различаются лоскуты размерами, по сути же различить их невозможно, да никто и не различал. Все не проходили мимо лоскутов, а напротив, напряжённо вглядывались, остановившись как следует и как следует же замерев. При этом у каждого вглядывающегося наворачивалась слеза и губы подрагивали.

– О чём вы задумались? – спросил бы я, если бы сам себе позволил подобную дерзость, у очередной сараянки с подрагивающими губами.

– Отвешиваю мысленный поклон, – отстранённо ответила бы она, если бы считала ответ неочевидным, а вопрос – недерзким.



– Сарай нерушимый! – пели все, правда, по-новосарайски. У нас, в старом сарае, пели тоже и то же, хотя и по-старосарайски, разумеется.

Все замирали как следует, хотя и намного более раскованно, чем в оставленном мною сарае. Незапертая для посторонних избела голубая дверь с непринуждённой регулярностью распахивалась, и входили, вернее, влетали, непервая женщина и такой же непервый мужчина. Они были первыми для всех сараян, и это придавало весомости говоримому. Было очевидно, что мужчина и женщина гордятся своей ролью и своими пуговицами, а значит и в первую очередь – своим сараем. И было чем: сарай сиял всеми пуговицами гордящихся им и ими сараян.

– Весомо и настойчиво просим любить и жаловать, – скажем, говорили непервые мужчина и женщина, – всеобщего любимца.

Веско названный всеобщим любимцем врывался в голубую дверь, бросал на всех плотно-отрешённый взгляд и в такт подёргиванию принимался нащёптывать фальцетом о чём-либо существенном, тогда как за ним шеренгой жестикулировали и шеренгой же подёргивались влетевшие вместе с ним неназванные общими любимцами.

Непервые женщина и мужчина пронзали всех неотразимым общим взглядом и сообщали:

– Требуем не ошибиться и постоянно восхищаться всеобщей недостижимой любимицей.

Всеобщая любимица спускалась ко всем с недоступной высоты, признавалась в микрофон в сокровенном и показывала всем же самоё себя, тем самым становясь ещё более недостижимой.

– И наконец, – звенящим голосом провозглашали непервая женщина и непервый мужчина, указывая на белоснежно-разноцветную стену, – настаиваем на восхищении единственно правильным воплощением белостенности.

Из разноцветной белой стены выплывали всеобщие любимцы, воплощающие единственную правильность, и всем становилось понятно, **как** должно быть правильно и, соответственно, **как** правильно быть не должно.

– Допустимо и даже очень важно быть неправильным, – говорили самые первые под раскованное поскрипывание конспектирующих перьев и аналогично раскованный шелест переворачиваемых страниц записных книжек.

Поскольку же ко всем врывался, спускалась и выплывали только единственно правильные и потому всеми любимые, становилось понятно, что неправильность – это частный случай правильности, критерии каковой правильности задавали всё те же ворвавшийся, спустившаяся и выплывшие.

От правильности, понятности и ясности всем было комфортно. В знак благодарности за отсутствие неоднозначности все становились навытяжку, прижимали правую ладонь к конкретной пуговице, как бы оберегая эту – первостепенную – пуговицу от потери, и нараспев повторяли сказанное непервой женщиной и непервым мужчиной. При этом все не отводили глаз от единственно возможного для всех односарайцев лоскута, единственно правильных любимцев и универсальных удобств, в первую очередь – главного. От последнего, впрочем, глаза иногда отводили, но постоянно держали его в уме, это ощущалось.

## 15

Новый для меня сарай был велик, хотя и несущественно менее необъятен, чем старый, зато удобства и пуговицы были налицо. Я понимал, что наличие пуговиц и удобств является веским поводом для любви, но задавался вопросом, является ли поводом для нелюбви их отсутствие. В старом сарае удобств не было, пуговицы сияли блеском нового сарая, но (или и) я свой старый сарай любил. Сменил сарай в поисках источника пуговиц, то есть не из-за нелюбви к старому сараю как таковому, а из-за нелюбви к отсутствию пуговиц.

«Ты можешь объяснить всё, что возьмёшься объяснять».

Хорошо уже то, что ты считаешь это объяснением. Мне бы твою важную для меня уверенность, пусть и замешанную на сарказме.

Однако продолжу.

В одном из многочисленных мест всеобщего пользования нового сарая было много всех, в этом новый и старый сараи были похожи.

Место было украшено лоскутами или, как я понял, зайдя в это место вторично и хорошенько присмотревшись, на самом деле лоскуты были украшены местом всеобщего пользования. Обилие пуговиц, при первом посещении поражавшее, при втором начало переставать поражать, а после пятого или шестого воспринималось если не как предмет обыденной, каждодневной гордости, то как нечто само собой более чем разумеющееся.

А запах исчез окончательно. То есть какой-то запах, конечно, был, но разве это тот, первоначальный, новосарайный запах? Я помнил, что он был, а вот воспроизвести его, хотя бы мысленно, не удавалось.

Кроме количественного значения, пуговицы имели качественное, не говоря уже об удобствах, в особенности основном.

За столиком – нет, он был больше столика, как и всё в новом сарае, – за столом нас, бывших сарайцев, собралось много, хотя и намного меньше, чем сараян, занимавших всё место вокруг всех нас.

«Ты кажется, недолюбливаешь, когда – вокруг?»

Увы. Чем больше и чем ближе, тем хуже. Хотя чем дальше – не означает тем лучше, ведь то, что сейчас далеко, вполне может оказаться близко. Да и наверняка окажется, точнее говоря, окажутся. Ума не приложу: вот вроде бы все совсем далеко, а нет, не успел расслабиться, как все окажутся за соседними столиками, вернее, столами. Все, сколько бы их ни было, а их – много.

«Не язви, лучше продолжай рассказ».

Не рассказ, повесть.

– Мы счастливы! – сказал бывший сараец, пристально глядя на изредка чередующихся правильных, поимённо отобранных в своё время непервой женщиной и непервым мужчиной.

– Мы счастливы! – кивнула бывшая сарайка, неотрывно глядя туда же.

Кто-то или что-то дёрнули меня за язык, и я спросил:

– Правильно ли, что должно быть правильно и неправильно? Правильно ли, что должно быть неправильно? То есть и может, и должно?

– Только так и правильно! – ответили бывшие сосарайцы и правильно приложили руку к соответствующей пуговице, которая была теперь у каждого из нас. Рука прилагалась к пуговице по всем правилам приложения руки к пуговице.

– Но ведь в старом сарае, – продолжал я, безуспешно стараясь оторвать язык от тянущих за него кого-то или чего-то, – в старом сарае хотя и не было удобств, особенно основного, да и вида, если быть последовательным, не было, тоже ведь было правильно и неправильно. Разве это правильно?

Все сосарайцы понимающе покачали головой:

– В старом сарае правильно быть не могло, равно как не сможет быть неправильно в новом.

«Кто или что тянет тебя за язык? Неужели нельзя промолчать, когда тебя не хотят спрашивать?»

Если молчать, никогда и не спросят...

«Никогда не спросят, если не молчать, – перебил он меня. – Кроме того, лучше пусть вообще не спрашивают, чем не промолчать. Если отсутствует вопрос, то кому, спрашивается, нужен твой ответ?»

Хорошо, я промолчал.

– Они все разные! – продолжала бывшая сарайка. – Не то что там, в старом сарае.

Бывший сосараец кивнул:

– Вы правы. Но большинство из них – разные правильно, тогда как растущее меньшинство – неправильно.

По лёгкости и плотности приложения правых ладоней к пуговице чувствовалось, что бывшие сарайцы освоились в новом сарае и он стал для них в лучшем смысле этого слова старым.

Строго взглянув на некоторых сараян, бывший сараец отметил:

– Их становится за соседним столом всё больше, что, позволю себе заметить вместо умолчавших об этом фактически первых женщины и мужчины, неправильно. Если так пойдёт и дальше, – а дальше пойдёт именно так, – термины «меньше» и «больше» потеряют своё исходное правильное значение.

Все новосарайцы – теперь уже сараяне – согласились и кивнули.

Всеобщий любимец, изначально веско представленный непервыми женщиной и мужчиной в качестве такового, был неотличимо похож на неправильно увеличивающихся в числе. Но он изначально был представлен как правильный, поэтому таковым не только был для сараян, но и стал для бывших сарайцев, правильно не убравших ладоней с пуговиц даже тогда, когда сараяне свои ладони временно, тоже правильно, убрали.

## 16

Прошлое – это отрывной календарь, оторванные листки которого хранишь, не выбрасывая.

«Некоторые всё-таки выбрасываешь, ты не станешь возражать».

Они сами теряются за ненадобностью. Нужные – хранятся, хотя и желтеют.

«Снова вынужден возразить: сколько нужных потеряно! Если бы знать, что они окажутся нужны, разве потерял бы, оторвав?»

Мой отрывной календарь состоит не из листков – зачем мне листки? – он у меня – из чёрно-белых снимков. Эти снимки – самые цветные на свете, цветнее не бывает. Нет снимков более цветных, чем чёрно-белые. Я взял с собой свой календарь, хотя – или потому, что – время в нём – только прошедшее.

Там, в старом сарае, все говорили, как минимум пожимая плечами:

– На них нет ни даты, ни, что важнее, красок. Что толку в календаре с чёрно-белыми листками?

Я не отвечал – как ответишь, когда спрашивают не для того, чтобы услышать ответ. Просто взял с собой этот мой чёрно-белый календарь, в котором, увы, нет некоторых листков, таких, теперь я понимаю, незаменимых. Сам когда-то, в прошедшем времени, оторвал их безвозвратно, и где теперь ни ищи, – а я всё ищу и ищу... – не найдутся. Раз уж листок оторван, время его прошло, а прошедшему времени никак не стать настоящим. Времени, чтобы сохраниться, ни в коем случае нельзя становиться прошедшим.

Календарь изрядно похудел, зато некоторые чёрно-белые листки остались в настоящем моём времени, не затерялись в прошедшем.

Вам всем они кажутся нецветными? Как жаль!.. Не снимков – вас.

Вот, посмотрите на все ваши цветные снимки: всё, что в них есть якобы цветного – это беззастенчиво, примитивно ясные краски: красная, синяя, ещё какие-то – элементарные, очевидные, мне неинтересно их перечислять.

А теперь – я разрешаю вам всем присмотреться ну хотя бы к вот этому, одному из снимков, составляющих мой календарь. Видите вот эту женщину? Она стоит вполоборота ко всем –

кроме меня, разумеется, – не зная, что щелчок фотоаппарата никогда не останется в прошедшем времени, и дата на снимке женщине не нужна. Не останется потому, что я не позволю ей уйти из настоящего. Смотрите: какое на женщине платье? Белое? Кремовое? Салатное? Голубое? Бежевое? Розовое? Видите, сколько красок – в одном лишь платье? А небо у неё за спиной – какое? Уже синее, ещё голубое? А солнце – оранжевое, красное, жёлтое? Ну вот, а вы все называли снимок чёрно-белым. Да в нём больше цветов, чем во всех цветах всех полей и лугов на чёрно-белом свете. На каждом из этих снимков нашлось место каждому цвету и оттенку. Берите – мне не жалко – все мыслимые и уже немислимые краски.

Берите, а то придёт будущее время и некому будет не позволить моему чёрно-белому листку оторваться от календаря и нырнуть в бездонное прошедшее время... Бездонное – если не охранять от него календарь.

Возьмите, пожалуйста, пока не поздно.

## 17

В старом сарае, как мы помним, завсар был титулом. В новом же титул начсара отсутствовал.

– Это, – объявили всем непервые для нас мужчина и женщина, – главное удобство. Без него пуговицы не сияли бы и остальных удобств не было бы.

«Для тебя главное удобство – нечто иное, неправда ли?» – спросил он понимающе и ухмыльнулся.

Ничего смешного. Если выбирать между действительно главным удобством и этим, я, безусловно, выберу главное. Пусть лучше пуговицы не сияют, чем не будет основного удобства. Но это – если придётся выбирать.

«Однако выбирают не удобство, а начсара, – уточнил он, как будто я не знал этого без уточнений. – Каждый может выбрать себе начсара по вкусу, вот и выбирают».

Вот только начсар, как и завсар, – один на всех, общий, сколько ни выбирай. Да и может ли у каждого быть личный завсар, не говоря уже о личных сосараянах? Пусть уж лучше титул остаётся титулом.

«Ты заразился от меня бациллой сарказма, браво».

Какой же это сарказм? Посуди сам: в старом сарае в мешке был кот, в новом – коты. Кто бы в конце концов ни нашёлся в мешке, он остаётся не кем иным, как котом, даже если на поверку окажется кошкой. Главное – не собственно кот, а его местонахождение, то есть – мешок.

– Да уж, – не глядя на первых своих мужчину и женщину, согласился знакомый сараянин и отхлебнул из кружки. – От мешка никуда не деться. Мешок останется мешком, а кот – котом или, на худой конец, кошкой.

И, приложив ладонь к пуговице, продолжил:

– Многие, из других сараев, не согласны, что много котов – лучше одного и что возможность выбрать кота, то есть начсара, конечно, – это главное удобство. Приходится объяснять, хотя самим в это не слишком верится. Но, знаешь ли, – он снова отхлебнул и приложил руку к пуговице, – одно дело – не верится нам, в этом сарае, а совсем другое – не верится иносараянам. Этим не вериться не должно. Жаль их, приходится объяснять.

– Удаётся объяснить? – заинтересовался я.

Сараянин подал плечами.

– Когда как. Некоторым повторяем неоднократно, некоторых суём в мешок, чтобы убедились в преимуществах мешка перед его отсутствием.

– С котами? – проявил я понимание. – Я имею в виду мешок.

– За котами дело не станет, – кивнул сараянин.

– Сложное дело, – вздохнул я сочувственно.

– Что ж поделаться: им, иносарянам, без мешка ведь никак, – положил он ладонь на пуговицу. – Иногда приходится применять силу, в их же интересах. А сила, применённая в интересах того, к кому её применяют, это вовсе и не сила. Это – самое что ни на есть наиглавнейшее удобство.

В новом сарае главным удобством, на мой ошибочный взгляд, было другое, но, наверно, у каждого главное удобство – своё собственное. Всё, судя по всему, зависит от системы критериев.

«И от размеров мешка», – добавил он, потому что ему в который уже раз виднее.

## 18

В зале присутствовали все, даже формально отсутствующие: все последние, уверен, не чувствовали себя последними: они прильнули к происходящему, чтобы потом поделиться увиденным и услышанным.

Непервый мужчина положил руку на главную пуговицу, понимающе улыбнулся краешками губ и обратился ко всем с ожидаемым всеми вопросом:

– Почему, дорогие все, мы гордимся нашим сараем?

Все широко улыбнулись и гордо ответили:

– Потому, что в нашем сарае – все удобства, тогда как в других сараях, по слухам, удобства отсутствуют.

– И потому, что всеобщие любимец, любимица и любимцы – единственно правильные, в других же сараях, как говорят, правильного любимца, правильной любимицы и правильных любимцев нет и быть не может.

– И потому, что наш сарай сияет как следует, а не так, как, судя по доходящей до нас информации, пытаются сиять псевдосараи, называющие себя сараями, тогда как всем известно, что нет сарая, кроме нашего сарая.

– Но самое важное – это то, что должности начсара и замначсара не являются титулами, – заметила непервая женщина, по случаю находящаяся среди всех.

Непервый мужчина тонко улыбнулся и, плотнее приложив руку к главной пуговице, добавил:

– В тех сараях, в которых завсар и замзавсар являются титулами, удобства недостижимы в принципе, а любимцы – в принципе же неправильные.

Красноречиво помолчав, он продолжил:

– Мы, в нашем единственно правильном сарае, должны быть начеку: недалёкие обитатели некоторых далёких псевдосараев не знают, каким должен быть правильный сарай, и нам периодически приходится осчастливливать их разъяснительной помощью. Некоторые осчастливливаемые сопротивляются своему счастью. На нашу долю, дорогие все, выпало преодолевать активное непонимание единственно правильного счастья.

Все дружно вскочили, прижали руку к пуговице и ответили своему первому мужчине взаимностью.

Однако на поверку оказалось, что вскочили всё же не все: когда все сели, один из всех сараев поднял руку, не желающую покоиться на пуговице:

– Слушаем вас, – поднял брови непервый мужчина.

– Одно из удобств – очень неудобное, – выдохнул сараянин, не присоединившийся ко всем ранее вскочившим.

Непервый мужчина временно убрал правую руку с главной пуговицы и поднял указательный палец этой отнятой от пуговицы руки:

– Тем далеко не всем, вернее, тому далеко не всем, кого не устраивают наши удобства...

– У-у-у! – сказали все.

...– все мы скажем: – продолжил непервый мужчина, и все поддержали его скандированием:

– Чемодан, вокзал, псевдосарай!

Непервый мужчина снова прижал руку к главной пуговице и завершил назидание:

– Спешу, однако, успокоить вас: где бы вы ни оказались, уважаемый сарянин, влекомый своим недовольством нашими единственно правильными удобствами и не ценящий их и своего счастья, мы окажем вам настойчивую разъяснительную помощь.

Все вскочили, прижали руку к главной пуговице и ответили непервому мужчине горячей взаимностью.

Раздался щелчок, и я, временно оставшись безо всех, смог подумать.

## 19

Думалось о сараях.

Любить сарай? Как не любить сарай?

Казалось бы: ну что взять с неказистой частицы, незаметной и безобидной? Ан нет, в ней-то как раз вся суть. В ней, в этой её худосочной, хваткой ручке, – не той, которой я сейчас пишу о ней, а в её пальцах-защипках, липких, неуступчивых, приставучих, почти самодостаточных.

Как любить сарай? Как его не любить?

Не помню, когда именно – собравшись в путь или добравшись до сияющего сарая без вида, – когда именно я понял, что свой сарай можно любить потому, что он свой, и не любить – по той же причине.

«Причина не слишком весомая, – заметил он. – Думается, столь эфемерный аргумент нуждается в усилении».

Я уверенно покачал головой. Аргументировать можно всё, кроме любви или нелюби к сараю. Говоря точнее, это чувство само находит аргументы, в равной степени веские вне зависимости от того, любишь ты сарай, или же ты сарай не любишь.

«Любить» не означает отсутствия нелюби, равно как «не любить» не означает отсутствия любви. Оба эти чувства применительно к сараю – нематериальны. Они идут не снаружи, а откуда-то изнутри, причём неясно, откуда именно. Сарай любят беспричинно, немотивированно. Аналогично – не любят. И частица, крохотная и вроде бы незаметная, как рыбная косточка, определяет это чувство: застряла в горле – не любят, откашлялся – любят, а сам по себе глагол ничего не решает, частица играет им по собственному своему усмотрению.

Все любят свой сарай, особенно когда сменяют его на сияющий, иначе говоря, чужой. Впрочем, так ли уж иначе? Все живут в своём тускло сияющем сарае, не могут терпеть новый сарай с его пугающим пуговичным сиянием и передают друг другу истории, одна реалистичнее другой, о всеобщности и общедоступности малодоступных в старом сарае пуговиц.

И чем сильнее не могут терпеть далёкий сарай, тем острее желание сменить загадочный вид любимого сарая на простовато-ярко сияющий новый сарай, совершенно не имеющий загадочного вида, но – и это тебе не частица какая-нибудь, это – союз! – но имеющий удобства, не говоря уже о пуговицах.

Сменив старый сарай на новый, все впадают в сильнейшую любовь, степень болезненности которой соизмерима с мощностью безжалостной частицы. Ещё не добравшись до нового сарая, экс-сарайцы начинают испытывать неистовую любовь к этому новому сараю, превосходящую любовь к нему исконных сараян. Одновременно и соответственно их нелюбовь к старому сараю резко превосходит нелюбовь к нему собственно сарайцев.

«Хочу уточнить. Нелюбовь к старому сараю может принять – и временами принимает – форму нелюби к новому».

Ещё бы! И как результат – любви к старому. Неуправляемая частица скачет куда и откуда хочет, не зная границ, наполняя беззащитный глагол неизбывной, яростной силой, тем самым превращая любовь в её зеркальное отражение, и наоборот, зеркальное отражение – в любовь. В частице нет ничего частного, она всеобъемлюща, и чувства всех по отношению к сараям – старому и новому – находятся в полной от неё зависимости.

«В частице нет семантики», – сказал он.

Её нет и в отношении сарайцев и сараян к сараям. Зато сколько угодно есть этой самой частицы.

Мой новый друг, сараянин, когда-то бывший сарайцем, сделал заказ и проговорил, когда официант удалился:

– Нет сарая, кроме сарая.

Он обвёл взглядом место, где мы собрались.

– Было, – возразил другой бывший сараец. – И вид был, и всё, что к нему относится. А в новом сарае – не вид, а одна лишь видимость.

Первый из собеседников почти вспылил:

– Тут есть пуговицы. А что было там, в старом, с позволения сказать, сарае?

Второй бывший сараец более чем не согласился и в знак более чем несогласия швырнул в собеседника сначала пуговицу, потом перечницу:

– Разве это пуговицы? У них даже цвет не естественно мягкий, а неестественно жёсткий. Не говоря уже о свете.

Перечница оказалась старой, но по-новому крепкой.

– Вся соль в том, – более чем возразил собеседник, швыряя в собеседника солонкой и возвращая ему брошенные ранее перечницу и пуговицу, – что отсутствие пуговиц не может компенсироваться отсутствием цвета и света.

Мы продолжали бросаться перечницей и солонкой, стараясь убедить друг друга. Хотя, если присмотреться, это были не солонка и перечница.

Это была – всё та же частица. Разве что побольнее и похлеще любой солонки и любой перечницы.

## 20

Что же это шумит, мешая идти, застилая дорогу, закрывая из виду то, куда иду?

Я начинал догадываться, но догадаться не хотелось.

Мне отвечали – равнодушно или печально, сочувственно вздыхая или бесчувственно улыбаясь, махнув рукой или разведя руками. Отвечали те, кого я не спрашивал, и молчали те, кто ответить не мог, как бы ни хотели. Да и не ответили бы, а просто – просто? – постарались бы унять этот шум для меня.

Не могли, вот в чём дело.

Что же так шумит – назойливо и неслышно, пролетая мимо и мимо, туда, к почти забытой первой фразе?

И откуда?

Стараюсь понять – откуда же?

Оттуда, куда зачем-то иду...

И вспоминаю, вспоминаю, повторяю первую фразу.

Иначе – не пойму.

## 21

Новый сарай заслуженно почивал на несомненных лаврах, сияя и переливаясь.



В старом же велась коренная сараизация. Ведь если сарай оставить несараизированным, то рано или поздно статус сарая он утратит – и что же тогда? Сарай без статуса – разве это сарай?

«Не так уж и поздно».

Ну вот, тем более. Сарай без статуса не имеет права даже на название. Так, нечто неназванное, не более того. Даже, говоря начистоту, менее.

«Вместо долгих рассуждений – отправься и посмотри. Или хотя бы справься».

Отправиться не смогу – я ведь уже однажды отправился в путь, из старого сарая в новый. А дважды собирать вещи, даже временно, вряд ли сумею. Что может быть тяжелее и незаслуженнее, чем собирать вещи? Не обращай внимания на вопросительный знак: он в данном случае такая же грамматическая формальность, как, скажем, прошедшее время.

А главное – в каком бы направлении мне ни пришлось идти, направление останется неизменным. И что-то, кажется, я начинаю понимать. Понимаю, что именно будет продолжать шуметь, застилая путь...

## 22

После сараизации просторное помещение было переполнено обучаемыми. Все обучались у многочисленных непервых – для не самых юных обучаемых – у многочисленных непервых женщин и мужчин. Те выходили и входили в помещение через бесчисленные разноцветные двери, дверцы, окна, окошки, бойницы, бойнички, кулисы, экраны. Обучающих, среди которых я увидел и хорошо знакомых мне мастеров по-прежнему допустимого свиста, было не меньше, чем обучаемых. Возможно, обучаемых было всё-таки пока ещё больше, но когда сосчитать не удаётся, не остаётся ничего, кроме знака равенства, остальные знаки теряют смысл.

Перьев после сараизации не было, скрипеть было нечем. Бумаги тоже не осталось, нечему было шелестеть.

Вместо привычных шелеста и скрипа раздавалось непривычное поначалу постукивание клавиш. Клавиши постукивали в соответствии с тем, чему обучали обучаемых далеко не первые мужчины и женщины.

– Прошу любить и жаловать, – говорила более чем непервая женщина, при этом более чем непервый мужчина твёрдо кивал. – Прошу любить и жаловать звезду популярного щёлка!

Звезда популярно щёлкала проблемы как семечки, вызывая массовый восторг обучаемых. Оконные стёкла звенели, шелуха плавно опускалась на парты.

– Наша главная проблема, – размеренно диктовали обучающие обучаемым под щёлканье проблем и постукивание клавиш, – точнее говоря, единственная наша проблема – это новый сарай в целом и его сараяне в частности и особенности. У нового сарая нет вида, его вид – сплошная видимость. В связи с этим сараяне прикрывают отсутствие истинного, только нам доступного вида его подобием, кажущимся им совершенно бесподобным.

Не дожидаясь паузы в постукивании клавиш, более чем непервый мужчина, поддержанный более же чем непервой женщиной, объявлял:

– Прошу жаловать и любить: звёзды популярной песни и пляски.

Звёзды всем своим видом показывали. Тем самым они подтверждали объявленное, тогда как обучаемые одновременно и своевременно постукивали клавишами, это объявленное фиксируя. Восторг не переставал быть массовым.

– Любить пуговицы и всяческое сияние, – обучали обучаемых обучающие, – и не любить сарай и сараян – это фактически одно и то же, равно как буквально повторять произнесённые сараянами слова и отрицать сараян вместе с их якобы новым сараем.

Говоря так, они обильно повторяли слова сараян, ставшие близкими всем сарайцам со времени начала сараизации.

– Попробуйте массово не восхититься, – объявили совершенно непервые мужчина с женщиной под аплодисменты не менее непервых женщины и мужчины, – только попробуйте не восхититься звездой раскованного слова.

– У сарайцев, – раскованно сказала звезда, – собственная гордость, в отличие от гордыни сараян.

Обучаемые раскованно законспектировали произнесённые слова слово в слово.

– Отсараим, – раскованно продолжила звезда словами сараян, – наш сарай, чтобы он сиял как новенький.

Звезда показала в сторону не такого уж и далекого нового сарая и сказала в заключение:

– А они, сараяне, пусть себе продолжают называть свой сарай новым. Но только наш, настоящий, истинный в своей первозданной новизне сарай заслуживает названия новенького.

И все подтвердили сказанное всеобщим восторгом, допустимым свистом и словами сараян, ставшими для сарайцев незаменимыми, как пуговицы и сияние.

## 23

«В твоём изложении все почему-то разговаривают исключительно за едой».

Я утвердительно кивнул. Когда рот полон, говорить удобнее, чем когда он пуст.

Вот, пожалуйста.

Один из всех правильно взял еду пальцами обеих рук, привычно откусил, низко наклонившись над столиком, и сказал:

– Сараизация старого сарая, как я и предсказывал, не удалась. – Он правильно высморкался в бумажную салфетку. – Можно ли сараизировать нечто заведомо несараизируемое? Отсутствие конкретных удобств никогда не компенсируется наличием абстрактного вида. Даже если удобства частично реализованы. Старый сарай остался старым сараем, сараизация не привела к усилению сияния и изобилию пуговиц.

Он снова откусил от еды, низко наклонившись над столиком и правильно, словно массируя затёкшее место, держа кусаемое.

Чужой сарай никогда не станет своим, даже если он свой. Совсем непервые женщина с мужчиной не обратили внимания на этот комментарий.

Другой из всех откусил из вилки, которую правильно держал в левой руке, и сказал:

– Сараизация удалась, это неоспоримо. – Он правильно высморкался в носовой платок. – К виду добавились удобства, и теперь бывший старый сарай – новее этого якобы нового. Пуговицы в нём намного изобильнее, чем в те приснопамятные времена до сараизации, сияние – несравнимо ярче.

Затем он правильно отпил и правильно же промокнул рот свободным уголком носового платка.

Свой сарай никогда не станет чужим, даже если он чужой. Уже непервые женщина с мужчиной не обратили внимания на этот комментарий.

Частица по-прежнему беззаботно перескакивала с места на место. Зато нужда в перечнице, кажется, отпала, по крайней мере за этим столиком.

Кто-то из них показал на вазу с цветами посреди столика и сказал:

– В хорошей вазе цветок хорошеет.

Другой даже не посмотрел на перечницу и согласился:

– Плохой цветок компрометирует вазу. Хорошая ваза – это большое одолжение цветку. Кому он без неё нужен?

Мне, сам не знаю почему, нестерпимо захотелось сморкаться, но не сморкалось: я не знал, как правильно. Точнее говоря, знал, – но кто его знает...

Смеркалось. Вода в вазе застоялась, официант унёс вазу вместе с водой и цветком.

Я вышел на улицу. Кто-из всех то правильно чихнул, приблизив рот к полусогнутой в локте руке, кто-то из всех правильно высморкался в бумажную салфетку. Высморкавшись и чихнув, все правильно спрашивали у меня и друг у друга, как дела, и правильно не услышав ответа, шли дальше, спрашивая у других встречных и снова уходя.

Есть слова, которые необходимо да и, наверно, достаточно говорить.

Все перечислили эти слова, чтобы я не забывал, как правильно.

– А остальные? – спросил я, зная ответ.

– Остальные не имеют значения, – ответили все – думаю, не зная ответа.

Хотя разве все знают, что – не знают?

В том числе я. Я ведь не менее все, чем все остальные.

## 24

Непервых мужчин и женщин собралось не меньше всех, и всех это вдохновляло. Все прижимали ладони к разноцветным пуговицам, строго и гордо смотрели на лоскут и возвышавшихся под ним и над ними непервых женщин с мужчинами.

– Есть сараи, кроме сарая, – сказала одна из непервых женщин.

– Но разве это сараи? – подтвердил один из непервых мужчин.

Все явно знали об уникальности нового сарая, но каждый раз явно же рады были слышать подтверждение своего знания. Не то чтобы оно не переходило в уверенность – просто без периодического подтверждения уверенность может перейти в неуверенность.

– В сарае жить – сараянином быть! – объявили непервые мужчины и женщины, и все отскандировали в ответ:

– Сараянином быть – в сарае жить!

Играли непреходящие музыкальные инструменты, жить всем становилось радостнее и веселее.

– Настоятельно просим обожать воплощение женской красоты! – сказал непервый мужчина, и не помост вышла красивейшая женщина всех времён и сараев. На лице её был нежный сырный макияж, она излучала всё, что можно – но лишь ей – излучить, не переставая излучать это ни на секунду, что явно укрепляло всеобщую убеждённость в единственности нового сарая.

– Да здравствует кот в мешке! – объявила женщина, воплотившая женскую красоту, и с торжественным очарованием закусила объявленное кусочком сыра.

Все встали и, приложив руки к пуговицам, радостно отдали дань вышедшему на помост из эффектно декорированного разноцветного мешка торжественно мяукающему начсару, недавно всеми отобранному именно с этой целью.

«Ты считаешь, что кота в мешке выбирают только для того, чтобы он вышел на помост?»

Не просто вышел – этого было бы до обидного недостаточно. Для того, чтобы – выходил.

– Да здравствует наш сарай! – объявил вышедший, держа руку на пуговице.

– Нет сарая, кроме сарая! – проскандировали все в ответ. – Нет мешка, кроме мешка.

– Все, как всегда, правы! – ответил вышедший, не убирая руки с пуговицы. – Потому что такого мешка нет больше ни в одном из сараев. Да и сараи ли это? Впрочем, да и мешки ли?

Все оценили шутку и расхохотались глубоко, до чихания в локтевой сгиб временно снятой с пуговицы руки.

## 25

Ты же видишь: чем разноцветнее, тем бесцветнее. Или мне показалось? Но если показалось однажды, то почему кажется постоянно? Ведь если постоянно, то, скорее всего, не кажется, а так оно и есть?

Он понял, но переспросил:

«Ты имеешь в виду пуговицы или всё сияние в целом?»

Я пожал плечами:

Сарай отсвечивает пуговицами, иначе откуда же взяться сиянию?

Теперь была его очередь пожать плечами или как-то иначе выразить сдерживаемое небезразличие:

«Не отправиться ли тебе в путь ещё раз?»

Было так невесело, что пришлось рассмеяться. Зачем полагаться на нецветной сарай, если у меня есть мои цветные, мои разноцветные чёрно-белые снимки в отрывном календаре? Куда бы я ни отправился, они – со мной, они – это именно то и как надо. Их не нужно любить и жаловать, о них – лучше написать роман.

«Вот как? И что же, ты дашь героям своего романа имена?»

Я снова рассмеялся, но теперь потому, что было весело:

– У моих героев имена уже есть, я не стану давать им другие. И сарай менять больше не стану, удобств и пуговиц мне хватает, да и в них ли дело? Пойду – но не в другой сарай, а от снимка к снимку. Это – единственно стоящее путешествие, не зависящее от грамматического времени, в котором я, как оказалось, не силен.

Ему оставалось кивнуть мне, не прощаясь, и посоветовать:

«Когда идёшь вверх, старайся не смотреть вниз. Когда идёшь вперёд, старайся не смотреть назад».

Но разве можно не смотреть туда, откуда пришёл? Разве перестанут напоминать об этом многоцветные листки чёрно-белого неотрывного календаря?

Я шёл, оглядывался, и теперь уже знал, что мешает мне идти, что с таким шумом пролетает, улетает мимо. Туда, куда всё-таки лучше не смотреть.

Прошедшее время здесь имело сугубо косвенное отношение к действительности, ты, разумеется, понимаешь.

«Понимаю. Но когда твою повесть наконец-то будут читать, настоящее станет давно прошедшим».

Думаешь, будут?

## Апокриф

Навязчивый стук не прекращается...

«Что-то меня потянуло на чёрный юмор...»

«Твой юмор, как бы чёрен он ни был, меня не раздражает. Цвет остроумия выбирает острейший, мне остаётся принимать твой выбор как должное».

«Ну хоть что-то должно же тебя раздражать? Вот и хлопнула бы дверью и ушла бы себе куда глаза глядят!»

«Было бы чем хлопнуть...»

Название на месте. А вот последняя фраза в моём рассказе осталась недописанной – рука устала выводить точку.

Точка отказывалась выводиться, хотя до неё в рассказе был целый выводок этих самых точек. Последняя точка сопротивляется дольше и упорнее других, только внешне похожих на неё. Потому, я думаю, что последняя – это и впрямь точка, а остальные – лишь разновидности запятой... Охотнее всего возникает первая, нетерпеливая и легкомысленная, будто... ну, не знаю, – будто любовь с первого взгляда, если не задумываться о более удачном сравнении. А вот последнюю приходится искать невыносимо долго, как ищешь невесту куда задевавшуюся старинную монетку из не имеющей без неё смысла нумизматической коллекции. И ведёт она себя не как последняя точка, а точь-в-точь наипервейшее слово...

Я вышел из дому, как водится, захватив книгу, – да-да, разумеется, вышли – мы. Мы решили подышать воздухом – нейтральным, не то что вечный чернильный аромат моего нескончаемого рассказа.

Мы – означает вдвоём. Но, конечно же, решил я... Решаю-то я!..

«Решаешь, решаешь, не горячись».

«Ладно, не хочешь уходить – оставайся, пойдём вместе... Только не мешай мне, пожалуйста! Не мешай мне своим присутствием!»

И отсутствием – тоже не мешай...

Без этих прогулок моя жизнь превратилась бы в пустую квартиру без двери, куда входят, не постучавшись.

«Квартира с зияющим входом ничем не лучше рассказа без точки, согласна?...»

«Не отвлекайся и ответь: итак, ты решаешь, – ну, и что же тебе удалось решить?»

Не буду отвечать на колкости... Сконцентрируюсь на более существенном.

Книга была тяжёлой, но я всё равно всегда брал её с собой: ей одной под силу заглушить не оставляющий меня в покое стук. Для этого её, к счастью, не обязательно открывать, да я обычно и не открываю...

«Буду думать, что стучит дятел. Тогда можно помечтать, что навязчивый стук оставит меня в покое, когда, рано или поздно, закончится затянувшаяся весна...»

Весна в моём северном крае длится круглый год, даже после того, как птицам – стучащим ли, поющим ли – становится неуютно на деревьях. И сейчас, летом, весна по-прежнему продолжается – ну чем не мой рассказ?

Дятлу некуда деться от своего дерева, на дереве всё равно уютнее, чем в неприветливом небе... И стучать в небо не во что...

А куда мне деваться от привычного стука -

«который ты игриво называешь навязчивым».

«Очень остроумно. Ты разве не поняла – это дятел стучит».

Луч – не отвлечённо геометрический, а всего лишь простецкий, солнечный, – старой учительской указкой показал мне на скамейку под деревом. Я положил неподъёмную книгу рядом, отпустил галстук – или затянул его – для не дописавшего рассказ это практически одно

и то же – и прислушался. Подумал, что бы сказать, и единственное, что нашлось, было довольно резкое:

«Вот найду потерянную монетку, и ты уйдёшь. Договорились?»

«Мы с тобой далеко ещё не договорили, так что время договариваться не пришло... А начали давненько, когда я торжественно числилась первой из точек».

«Лучше бы ты попробовала стать последней... Впрочем, это у тебя вполне получилось: ты оказалась обеими по совместительству».

«Бурчишь, значит, предпочитаешь числить меня последней, пусть и наиболее своенравной. А ведь моя покладистость так же бесконечна. В знак её демонстрации подыграю тебе: я согласна считать заканчивающееся лето незаконченной весной. Когда выведешь искомую точку – попробуем договориться. Точнее говоря – если выведешь. Я тебе, как у нас с тобой принято, ничего не обещаю – только обнадёживаю. А разве быть обнадёженным – недостаточно?»

Стук возвышался и учащался. Наверно, высокие широты заставляют его звучать бесконечно высокой нотой, не имеющей определённого содержания, словно рассказ без последней точки.

«Или роль без актёра... Не написать ли об этом – когда, наконец, закроется дверь?...»

Со скамейки мне было едва слышно ржание детских коней и туманно видны непреодолимые ржаные заросли. Вероятно, весна даже поздним летом искала свою монетку... Ах, была – не была, скажу всё, что думаю:

«В наших северных краях несжатая рожь напоминает твои волосы, не сжатые обручем, не отягощённые лентой, не стиснутые платком, – твои волосы, пропахшие ржаным ароматом моих чернил...»

До кого-то же он пытается достучаться, этот дятел? Или помогает мне найти мою монету?

«Знаешь, почему ты пристрастился к деталям?»

Я промолчал.

Книга лежала рядом, это успокаивало, но и чуть тревожило. Её тяжело носить с собой повсюду, ещё труднее перелистывать тяжёлые страницы. Время от времени хочется перевести дух, лучше всего – на этой скамейке, окружённой растрёпанной рожью, колышущейся в такт непреходящему стуку.

Ну, хорошо, отвечу:

«Твои вопросы становятся всё более детальными... Ты пристрастилась к деталям ничуть не меньше моего, только, боюсь, нас интересуют разные детали... Хорошо, раз ты настаиваешь, я отвечу: когда нет целого, цепляешься за частности, наивно надеясь, что они составят целое, или хотя бы заменят его. И знаешь – иногда заменяют».

«Видишь ли, я не интересуюсь тем, **что** ты называешь заменяющими целое деталями. И, разумеется, не интересуюсь этим твоим целым, просто потому, что оно для меня – самая незначительная из деталей. Для меня важнее обобщение, оно заменяет необходимость в подробностях...»

Дятел так дятел... Правила давно и полностью приняты.

Стоит стуку прекратиться – и рожь никогда уже больше не заколышется...

Снова чёрный юмор, привычно многовато на сегодня.

Не перехватить ли мне инициативу:

«Интересуешься. Возможно, не так болезненно, как я... Между прочим, «не так» вовсе не означает «менее».

«Нашёл время переходить в контратаку. Обобщение важнее для меня любой из фраз, и всех точек, вместе взятых, – проставленных и потерянных».

Удивительно, что её не раздражает постоянный стук. Поэтому-то она не хочет уходить. Когда же придёт её время и она оставит меня в покое?

«Ты хочешь, чтобы время пришло само собой, так же, как тебе пришло в голову постоянно приходить на эту скамейку? Не кажется ли тебе, что с твоей стороны подобная тривиальная самоуверенность граничит с тривиальным же отчаянием?»

Прихожу, но мой рассказ остаётся дома один, без точки... Обесточенная, прохудившаяся сеть, годная разве что на безрыбье... А ей, видишь ли, подавай обобщение.

«Я постоянно прошу тебя уйти, но ты беспардонно остаёшься...»

«Да, остаюсь, и даже горжусь этим, хотя упорно стремлюсь оставить тебя, пользуясь твоей терминологией, в покое. Не ухожу потому, что ты ещё упорнее не отпускаешь меня. Ну, предположим, отпустишь: кого же тебе тогда останется умолять и удерживать? Ты любишь меня за то, что у тебя для уговоров есть я, и опасаясь расстаться со мной, чтобы вместо меня не пришлось упрашивать кого-то другого, согласен? Я имею в виду – другую».

Дождь разговорился в такт нашей беседе. Его фразы безобидно обрушились на ржаную промокашку, отпечатываясь на ней расплывчатой, неразборчивой, хотя и многословной рукописью. Я узнал среди этих фраз свои – самые сырые из выпадавших.

Рука или ветер – мне никогда не было видно со скамейки – провели по волосам, чтобы они растрепались ещё сильнее.

«Твои волосы не укладываются ни в какую причёску».

Неукладывающиеся ржаные волосы насмешливо бросались мне в глаза, я отводил их – и глаза, и волосы, но ржаная копна не слушалась и рассыпалась вокруг скамейки и дерева, в ветвях которого невидимо и ушащённо старался до кого-то достучаться дятел.

«Так почему всё-таки тебя не раздражает постоянный стук?»

«Послушай, я тебе ни в чём не отказываю, но – или и? – ты не можешь помешать мне существовать вне зависимости от несущественных частных, даже если мы согласимся назвать их не уничижительно – частностями, а нейтральнее – факторами, что ли. Опережаю твой вопрос: существенных факторов для меня не существует».

«Почему же ты не хочешь оставить меня в покое и реализовать свою независимость в полной мере?»

«Потому, что ты слишком безнадежно сильно этого хочешь. Твои настойчивые требования уйти – сильнее любых вялых просьб остаться».

Ну да, мы договорились, что это будет дятел, не станем вносить запоздалые коррективы...

«Ты постоянно твердишь мне это, словно повторяется одна и та же запись, которую я обречён проигрывать с тех пор, как чернила впервые промакнулись на моей первой, наименее сырой из фраз... На моей первой фразе, увенчанной послушной, игривой точкой...»

«Ты проигрываешь её, но она остаётся беспроегрешной: других слушателей у неё и соперников у тебя – нет».

Кто способен обнадёжить лучше, чем обнадёживаешь себя сам?...

«Возможно, ты исчезнешь, если я допишу недописанную фразу?»

Решиться и отыскать последнюю точку?

«Я решусь, но – пообещай, – хотя ты никогда ничего мне не обещала...»

«Попробуй, тебе же не впервой пробовать, – а мне не впервой ожидать счастливого краха, – хорошо, хорошо, не нужно кусать губы и конец ручки, – последней точки в твоём рассказе. Согласна, готова признать: нашего рассказа. Или, ввиду нескончаемости, – нашего романа – хотя роману-то как раз и положено закончиться. Поставь последнюю точку – и посмотри, окажется ли твоя фраза последней. Прислушайся к непрекращающемуся стуку на этом своём дереве: прекратился ли он?»

«Получается, тебя не волнует этот дятел, не отличающий ни одного времени года от весны?»

Вопрос без ответа – разве это не ответ?...



Учительская указка спряталась в тёмном шкафу. Ржанные волосы потемнели – их закрыл от меня занавес безнадежно высотных зданий, и дятлу не нашлось места на безлиственном дереве, а дереву не было места у скамейки...

Дятел так дятел, – подумал я и спрятал нечитаную книгу в шкаф.

Дятел как дятел...

«Ты по-прежнему не хочешь уйти? Тогда давай поговорим совсем уж откровенно. Мой, как ты говоришь, рассказ-роман, к деталям которого ты безразлична, весь – в твою честь. Тебя это не вдохновляет? Тебе не интересно узнать, что всё в нём – от названия до последней фразы – ты и о тебе? От последней фразы, какой бы незаконченной она ни казалась, до быстро и легко возникшего названия, ставшего наиглавнейшей фразой».

«Совсем уж откровенно? Тогда вот что: честь чересчур велика для меня одной. Хотелось бы, если позволишь, разделить её с твоей промокшей промокашкой, с твоим ищущим последнюю точку дятлом, с твоей скамейкой, откуда видна весна и слышно ржание коней в ржаном поле. Всем нам – не самое ли место под вот этим выцветшим названием – словно под деревом, из-под которого раздаётся сбивчивый, учащённый стук, словно пригоршни монет падают на пол?»

«Ты и раньше умела формулировать и обобщать. Тогда добавь сюда и ветер, и дождь...»

На месте были все слова, и последняя фраза, по-моему, тоже.

«Ах да, чуть не забыла: дождь, высохший над моими волосами, не успев намочить их. И ветер, неспособный их растрепать».

Я устал от безответных вопросов.

«Послушай, тебя ведь не может не раздражать мой пульс, похожий на учащённый стук падающих на пол монет? Ты была вынуждена слушать его всё наше время – неужели это не повод уйти?»

«Имеет ли смысл упрашивать меня в надежде, что я проигнорирую твою просьбу? Лучше бы ты поставил точку в этом своём – нашем с тобою – романе и начал новый – а вдруг начнётся? Первая точка придёт легко и весело, сама собою, как любовь с первого взгляда. Разве что название... – опасаясь, как бы оно не повторилось».

Проблема в том, что первый взгляд никогда не оказывается последним...

Достать книгу из шкафа сегодня снова и уже не было сил: руки устали держать ручку и тетрадь, промакать непросыхающие чернила, и тем более – перелистывать страницы.

Я сделал усилие и вчитался.

Приютившее нас название на месте... И последняя фраза вроде бы тоже...

Вот только квартира – как была, так и осталась, без двери.

## Мольберт

Вопросительные знаки фонарных столбов перестали сутулиться и выпрямились в восклицание пустой утренней дороги, ведущей на север, к моему озеру. Почти бесшумно пролетел над озером самолёт, вот куда уже успевший долететь с тех пор. Мне казалось, что это я давным-давно запустил его, когда он был всего лишь самолётиком... Ленивый дождь полз, не в силах в такую рань пойти как следует, и постепенно уснул где-то в горах, спрятавшись за соснами, похожими на задутые под утро свечи.

Новая картина, кажется, постепенно вырисовывалась, – но, как всегда, я не был в ней уверен и устал от этой гнетущей неуверенности. Взяв этюдник, я спустился к моему озеру, напоминающему каплю дождя, растёкшуюся по ладони. Перелётный гусь гоготнул надо мной и перевёл настороженный взгляд собственника на равнодушную ко всему бrenному перелётную подругу. Гусь был хорош собой и мог бы отдалённо походить на лебедя, однако выглядел чересчур горделивым, и этим радикально от лебедя отличался. Не следует считать своё происхождение, подумал я, – в том числе гусятность, большим достоинством, чтобы его, в конце концов, не посчитали недостатком.

Усевшись перед этюдником на любимую скамейку, я вздохнул поглубже и принялся рисовать. Островок, вода, простуженно хлюпающая у берега, вызывающая тёплое сочувствие радикулитная ива, проплывающие селезни с блестящими, подобно вымытым бутылкам, головами, невыспавшиеся утки, ёлки, сошедшие с миллиона новогодних открыток. И облака, как кусочки сахара в остывшем чае, не растворяющиеся в утреннем озере.

Чем дальше я писал мою картину, тем больше опасался, что она выйдет не такой, как я задумал, что ей будет не хватать одного-единственного штриха – или мазка – последнего, решающего, ставящего точку. Чтобы зрители увидели моё озеро так, как хотел я, и не сказали бы то, что всегда говорят: мол, так не бывает и на моей картине всё – неправда.

– Ваш мальчик любит метафоры, – оценивающе произнёс кто-то за спиной.

– Девочка, – машинально ответил я и обернулся.

Удивительно, что раньше я их не замечал. Двое художников, один несколько старше другого, сидели за мольбертами, их картины перешёптывались, как шепчут, шелестят, шуршат октябрьские листья. Картины были непохожи, словно две капли воды, и это делало их похожими – словно те же две дождевые капли. Я легко понял этот язык, хотя, на первый взгляд, он не был моим. Правда, иногда знания языка недостаточно, чтобы понять: ведь если знаешь язык, ожидаешь услышать знакомые слова и фразы, – а это, увы – или к счастью? – не всегда происходит. Я отложил кисть, но тот, что младше, сказал:

– Раз уж вы пришли на это озеро, кисть откладывать нельзя.

Он снова посмотрел на мою картину и проговорил одобрительно, обращаясь к своему коллеге:

– Получается непохоже...

Я не успел обидеться, как старший добавил – неторопливо и убедительно:

– Согласен, нужно отдать автору должное. К счастью, он не старается отличаться или походить.

Младший приветливо кивнул мне, ставя точку, хотя я надеялся, что – лучше – запятую:

– Стараться быть непохожим или похожим – это фактически одно и то же, дружисе.

Продолжайте избегать и того, и другого.

Я обрадовался новому знакомству, взял отложенную было кисть и сказал первое, что пришло в голову, чтобы поддержать разговор:

– А я вас тут раньше почему-то не видел...

Старший тоже улыбнулся и кивнул:

– Потребовались взаимные усилия.

Мы рассмеялись. Солнце тем временем вышло в люди и невыпеченным круглым кусочком теста повисло над островком. Утренний свет был цвета не совсем созревшего апельсина. Хозяин островка, бобёр, выбрался на сушу и поправил усы.

– Вы правильно определили возраст героини, – похвалил я моих новых друзей. – Впрочем, жаль: я хотел разгадать эту загадку для зрителя позднее. Желательно – в самом конце картины – когда найду завершающий штрих.

– Вы уже почти нашли его, – ответил младший. – Озеро на вашей картине видит девочка или мальчик: оно выглядит как капля, растёкшаяся на ладони.

– Если бы смотрел я, оно бы растеклось слезой по щеке, – негрустно, но и не очень весело, заметил старший.

Младший задумчиво затянулся сигаретой, не замечая пепла, падающего с неё точь-в-точь как пожухлые листья с клёнов, растущих по склонам гор.

– Меньше всего, – подумал я вслух, советуясь с ними, – на детали обращают внимание те, кто так же невнимателен к целому. В результате их детали не складываются в целое, а целое превращается в незначительную деталь, каким бы важным ни был замысел.

– Замысел сам по себе не может служить оправданием результата, – с отстранённой иронией заметил старший из художников. – Главное – узнать и рассказать правду, какой бы фантастической она ни выглядела, и избежать фантастики, какой бы правдивой она ни казалась.

– Иногда, – пожаловался я, – фантастика выглядит такой простой, что понять её более чем непросто...

И добавил, подумав:

– Хотя сложность в том, что зрители зачастую предпочитают фантастически непонятной им правде фантастику, выглядящую соблазнительно правдиво...

Мой самолётик всё летел над озером, мы смотрели на него и думали каждый о своём, но, в сущности, об одном и том же: о том, что сейчас кто-то наверняка смотрит на нас из иллюминатора и мечтает спуститься сюда и пожить хотя бы недельку на бобровом острове, – но самолёт не останавливается и улетает.

– Почему же, – проговорил я, обращаясь к младшему из художников и всматриваясь в его полотно, – у вас на картине наш остров не в озере, а в море?...

Он снова затянулся и сказал печально:

– Когда летишь на юг, все озёра сливаются в океан...

По своей привычке обязательно возразить, особенно тем, с кем согласен, я хотел было выпалить, что на морском острове приличный – а наш был явно приличен – бобёр не прожил бы и недели, – но вспомнил о более важном и поделился с ними:

– Я в детстве больше всего на свете любил ездить на юг...

– Вот видите, – подтвердил старший, – мы все с юга: и этот гусь, и мы с вами, и самолёт, летящий домой, и свет цвета созревшего апельсина...

Бобёр закончил утренний туалет, прищурился, бросил на нас оценивающий взгляд и, не найдя ничего заслуживающего внимания, плюхнулся в воду по неотложным делам. Ошарашенная утка взмыла куда глаза глядят, возмущённо крякая на бобра и разочарованно – на не защитившего её бутылочного селезня.

– Впрочем, – продолжил я, глядя на картину старшего из художников, – возможно, их нелюбовь к правде объективно объяснима?... Вот, к примеру, – но только к примеру, – эта ваша картина. Ей тоже, по-моему, недостаёт последнего штриха: здесь сообщают какую-то тайну, но вы не знаете, какую именно, и хотите, чтобы эту загадку разгадали зрители. Я попытаюсь найти её – для вас, чтобы вы нанесли последний штрих. Вот только если бы вы сказали, что загадку найти можно и что она – единственная, искать было бы легче.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.